

То была встреча, словно наконец уви-дела человека, которого давно знала, и после долгой разлуки он предстал вновь: прежний и незнакомый, изменившийся и одновременно оставшийся верным себе.

Листаю "Сводные тетради". Узнаю пространные отрывки, подробные психологические планы и замыслы трагедий "Ариадна" и "Федра", записи к "Крысолову", к "Поэме Горы", "Поэме Конца"... Афоризмы, меткие суждения, наброски к стихам и поэмам... Все это были выписки, которые делала Ариадна Сергеевна Эфрон. Так что встреча моя со "Сводными тетрадями" — глубоко личная, как, уверена, ни для кого другого.

*

Как рассказать о них, вобравших в себя столько удивительных, интереснейших вещей, что по ним можно написать целый роман о Марине Цветаевой? Все здесь главное, и все — равнозначно; и вместе с тем достаточно сумбурно, с прерываниями и с возвратами к уже сказанному. Марина Ивановна никогда, естественно, не издала бы эти разрозненные записи в том виде, в каком составила из них четыре сводные тетради. Ведь она переписывала туда все, что хотела сохранить и увезти с собой в Россию. Ни о каком "построении" тетрадей, плане речи не было и не могло быть; планы поэмы перемежаются с записями лепета трехлетнего Мура; варианты стихотворений — с набросками личных писем, афоризмы, перенесенные из ветхих записных книжек, которые уничтожала, — с воспоминаниями отдельных эпизодов, и т.д., и т.п.

Начну, пожалуй, с записи, особенно меня обрадовавшей, — встречей узнавания.

Предыстория. Когда-то Ариадна Сергеевна подарила мне маленький листок бумаги с такими словами Марины Ивановны (июнь 1925): "...потому что считали, что слишком мало — люди не давали мне НИЧЕГО. Поэтому, должно быть, [Борис] П[астернак] не посятит мне ни одного стиха[творения]..."

Читаю в "Тетрадах" (март того же года): "Б.П., Вы посвящаете свои вещи чужим — Кузмину и другим, наверное. А мне, [Борис], ни строки. Впрочем, это моя судьба: я всегда получала меньше чем давала: от Блока — ни строки, от Ахматовой — телефонный звонок, который не дошел, и стороннюю весть, что всегда носит мои стихи при себе, в сумочке, — от Мандельштама — несколько холодных великолепиях о Москве (мною же исправленных, досозданных!), от Чурилина — просто плохие стихи (только одну строку хорошую: Ты женщина, дитя, и мать, и Дева-Царь), от С.Я.Парнок — много и хорошие, но она сама — не-поэт, а от Вас, Б.П. — ничего..."

Она делает выписку из неотправленного, по-видимому, письма к Пастернаку о "Лейтенанте Шмидте" (1 июля 1926 г., она послала более мягкое письмо); она пишет, что его герой "ноет", "слюнит", он — "нытик": слезы и слизь". О том, что письма Шмидта — "срифмованный жаргон 1905 г.". (В отправленном письме Марина Ивановна была сдержаннее: "Письма (Шмидта. — А.С.) — сплошная жалость. Зачем они тебе понадобились?"

Новая — прежняя Цветаева...

*

Известно, что во второй половине двадцатых годов Цветаева почти перестала писать лирические стихи, да и вообще стихотворные вещи стали даваться ей тяжело (пушкинское "лета к суровой прозе клонят"?). И вот подтверждающая записи 1929 года — во время работы над "Поэмой о царской семье":

" — Почему я в 1920 г. (когда уже хорошо писала!) — писала так легко? (Всё Ремесло, напр., написанное в год! Бывало — по два стиха в день!) Что со мной сделалось? сделали? — Сплошное непонимание в волну (ритмическую). Ничто не несет (раньше уносило: заносило — как метель!). Если я еще пишу — и хорошо пишу — то только благодаря упорству. От отчаяния. Голое сознание долга — перед кем и чем? — Раньше: не пишу —

Доклад, не прочитанный на Международном парижском симпозиуме, посвященном 105-летию Марины Цветаевой по причине перенесения симпозиума на 2000 год.

не дышу, сейчас: не пишу — не вправе дышать.

Другие ждут «вдохновения»... Если бы я ждала вдохновения (...) Ведь если не сесть (засесть) — стихи себя сами не напишут. Придут («в голову» — пройдут сквозь нее облаком) — и пройдут. Я ведь тоже могу не писать — месяцы! (Не внутренне — могу, стихотворно — могу.) Больше того: я чаще всего — каждый день, каждый раз, когда сажусь — не могу писать. (Особенно не могла — Федру. Точно воз везла! А как вышла! Самое коварство, что ни малейшей приметы — этого моего возо-везения: водовоз ства: сплошной поток!) Скажем честно: большие стихотворные вещи — моя каторга.

Последнее вдохновение — Письмо к Р[ильке] (Новогоднее). Федра — уже колюшки. Перекоп — вдохновенность не стихом, а темой".

И дальше, о "Поэме": "Неделю бьюсь над восьмью строками. Чтобы написать эту вещь так, как она была, нужно любить и смочь, т.е. быть мной, человеком, и мной, поэтом (рукою, слухом). Дай мне Бог написать эту вещь хотя бы в год. (Нынче 1-го июля 1929 г.). Столько мыслей — и так мало строк! Столько строк — и так мало связи!"

*

Неожиданностью для меня оказалась вторая "попытка беловика" главы из "Егорушки" — "Лазорь-река": январь 1923 года, вскоре после окончания "Молодца". В свое время мне удалось получить тетрадь "Егорушки" 1928 года; я думала, что это и есть вторая "попытка" поэмы. Оказалось — третья. (Так в мою книгу о Цветаевой вкралась не точность, в которой я неопытна, но которая — досадна). Марина Ивановна вскоре бросила поэму: старый прототип остался в далеком московском прошлом, новый же не просматривался нигде вокруг, да и жизнь души поэта пошла по совсем другому руслу: романтическая переписка с Пастернаком и А.Бахрахом; осенью — сокрушивший все роман с Родзевичем... "Остатки" поэмы Марина Ивановна тем не менее терпеливо переписала в первую "сводную тетрадь".

Анна Саакянц

Новая прежняя Цветаева

*

Разбирая "Тетради", я, конечно, не могу быть последовательна; их естественная непоследовательность, отрывочность, даже — хаотичность заставляют и меня писать отрывочные наблюдения...

Великолепен цветаевский отзыв на полускандалный в то время роман Д.Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей". С одной стороны, спокойное восприятие Мариной Ивановной шокирующей публики эротики (вспомним, однако, ее письмо к Родзевичу в сентябре 1923 года, с легкой руки В.Б.Сосинского давно известное). С другой — высокая верность Духу, Высоте. И вот в результате Цветаева дает блистательный, гармоничный и ироничный отзыв о романе. Герой, пишет она, "слишком духовен для такой физики, какой-то принципиальный любовный Геракл. Вроде пропагандиста". И дальше: "Все ощущения книги — верны, а большинство рассуждений героя — излишни". Ее вывод: "Странная книга. Прекрасная по авторскому бесстрашию. Но есть — тошнотворность, перегруженность славью — пресыщающая — и отвращающая читателя".

*

С юности — и всю жизнь — искала она абсолюта в любви. Никогда не находила и не нашла; как только казалось, что приближается, — идеал рассыпался в прах. Рассуждения лишь заводили в тупик, как, например, эта записка, сделанная еще в Москве, до отъезда:

"Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное — какая жуть!"

А только женщин (мужчине) или только мужчин (женщине) заведомо исключая необычное родное — какая скука! И всё вместе — какая скудость.

Здесь действительно уместен возглас: будьте как боги!

Всякое заведомое исключение — жуть".

А много лет спустя, "нырнув" на дно своей души, внезапно признается себе, что тянулась к таким, как герой "Поэмы Горы" и "Поэмы Конца" (которого некогда назвала "любовником любви") и, в

сущности, к нему обращает очередное свое откровение:

"8-го сент[ября] 1932 г.

Есть, очевидно, люди одаренные в любовной любви.

Думаю, что я, отчаявшись встретить одаренность душевную, а сама в любовной любви если не: бездарная, то явно-неодаренная, во всяком случае явно (обратное от тайно) не одаренная — к этой одаренности, в них, тянусь, чтобы хоть как-нибудь восстановить равновесие.

Образно: они так целуют, как я — чувствую и так молчат, как я — говорю.

Ничем иным такое тяготение всегда к тем же, к таким же, при моей холодной в любви (и только в любви!) крови не объяснишь. (Разве что надежда на горячую кровь (собственную)?)

Тянусь к их единственному дару (моему единственному — отсутствующему).

Еще одно — и очень сильное.

Эти люди (и только эти!) делают меня другой, новой собой, не-собой. Соблазн собственной новой души, а не чужого тела. И соблазн — чужой души, только тогда — беззащитной, разверзтой (моя — всегда!) и только так заполучаемой.

Только в этом они сильнее, цельнее, полнее меня.

К людям высокого духа я — любовно — не влеклась. Мне было жаль их на это, себя на это (Володя Алексеев). Что — это? Да на эту невысокую беду".

*

Родзевич. В записях, относящихся к нему, она хочет сохранить — всю себя, до беспредельных откровений, порой обнажая душу, что называется, до последнего предела, так что трудно читать эти страшные по своей незащищенности искренности мысли и чувства, которые она поверяет "Тетрадам". Она пишет (так ей кажется в ту минуту), что рассталась с Родзевичем, когда услышала от кого-то, что он не навестил в больнице ее умирающую "предшественницу" — и вообще-то обратил свой взор на нее, Марину Ивановну, оттого, что ему просто была нужна женщина. Ее отчаяние так велико, что она "увековечивает" чужие грязные сплетни, которые я не рискую приводить. Мы никогда не узнаем (да и не надо!), что было на самом деле. Важ-

но одно: она продолжает любить его и не представляет, как будет (и будет ли) жить дальше. Об этом — душераздирающая записка:

"Итак, другая жизнь: в творчестве. Холодная, бесплодная, безличная, отрешенная, — жизнь 80-летнего Гете.

Это: будучи ласковой, нежной, веселой, — живой из живых! — отзвываясь на все, разгорающейся от всего.

Рука — и тетрадь. И так — до смерти. (Когда?!) Книга за книгой. (Доколе?) Еще: менять города, дома, комнаты, укладываться, устраиваться, кипятить чай на спиртовке, разливать этот чай гостям. Да, гостям, ибо на другое я не вправе.

Никого не любить! Никому не писать стихов! И не по запрету, дареная свобода — не свобода, моих прав мне никто не подарит.

Друзья? Мало, вяло, не по мне, не для меня. Я «подруга», а не друг. Die Freundin (подруга — Ред.), а не die Frau (жена. — Ред.). Замысел моей жизни был: быть любимой семнадцати лет Казановой (Чужим!) — брошенной — и растить от него прекрасного сына. И — любить всех.

М.б. в следующей жизни я до этого дорвусь — где-нибудь в Германии. Но куда мне загнать остаток (боюсь, половину) этой жизни — не знаю. С меня — хватит".

И это пишет Марина Цветаева, для которой между жизнью, творчеством и любовью (тайный жар!) всегда стоял знак равенства... Но в тот роковой момент ее жизни все рухнуло, казалось, навсегда.

Какая беспощадность самопризнаний, какая бездна отчаяния — и какое страстное желание увековечить свои трагические метания... И — столь же отчаянно, не щадя себя, упоминает она эпизод, когда "герой поэм" понял, что ее будущий ребенок — не его: "Не забыть записать этой дичайшей сцены ревности, в кафе, когда узнал, что у меня будет сын. Сначала — радость, потом, когда сообразил — ревность. Но все это смыто потоком крови рождения". К этой сцене Марина Ивановна не вернулась. А к Родзевичу, переболев им, она, как обычно, охладела, а впоследствии они стали, что называется, "встречаться семьями". А Мария Сергеевна ("Муна") Булгакова, на которой женится потом Родзевич, будет в числе прочих нянчить новорожденного сына Цветаевой.

Москва

Окончание следует.